

как и другие члены группы Бурбаки, были не менее склонны встречать человека «по заслугам». В соблюдении этого правила — гарантия *честности*. С радостью отмечаю (на основании всех откликов из большого мира, долетавших ко мне до сего дня), что профессиональная честность членов-основателей группы по-прежнему безукоризненна ⁽²⁶⁾. И утверждаю, что другим математикам, позднее вошедшим в состав Бурбаки (или обретавшимся поблизости, в той же научной среде) не удалось пронести ее через годы, не покорбив. Я и сам ее не сберег.

Этики, о которой мне говорил Дьедонне — в деловых выражениях, безо всякой рисовки — в качестве этики определенной научной среды больше не существует. Точнее, утратив честность, как душу, сама среда рассыпалась в прах. В ком-то честность все же сохранилась; кто-то обрел или обретет ее вновь. В духовной жизни того или иного из нас решающие моменты связаны с ее уходом или возвращением. Но общая сцена уже переменялась неузнаваемо. Среды, принявшей меня когда-то и ставшей для меня как воздух, среды, принадлежностью к которой я втайне гордился, больше нет. Этику, молчаливо управлявшую ее жизнью, в какой-то момент вдруг стали открыто отрицать — на практике, в теории, щеголяя своими новыми кредо. Но задолго до этого она незаметно умерла во мне самом — или по крайней мере отступила неведомо куда под натиском сил совершенно иной природы. Я мог удивляться, возмущаться произволом, гулявшим вокруг, лишь по невежеству; намеренному, потому что я и не хотел ничего знать. То, что я слышал издавка о новых законах среды, бывшей когда-то моей, несло мне весть обо мне самом. Я же предпочел отложить письмо, не раскрывая конверта.

33. Говорить о правилах профессиональной этики имеет смысл лишь тогда, когда за ними стоит определенная внутренняя позиция. Нет такого закона, который заставил бы тебя уважать своего ближнего и обходиться с людьми по справедливости, если ты сам в глубине души настроен на другой лад. Пожалуй, если обстановка в той или иной профессиональной среде построена на уважении к человеку, то эти правила, единожды сформулированные, помогают ее закрепить — да и то лишь отчасти. Когда же люди теряют живую искру доброжелательности друг к другу, и в воздухе веет холодом — тогда, даже если самые благородные законы провозглашаются на каждом перекрестке, толку от них не больше, чем от потерявших силу заклятий. Самые подробные, самые тщательные толкования буквы закона ничего здесь не убавят и не прибавят.

Не так давно один из моих прежних друзей и товарищей любезно объяснил мне, что в наше время, при столь невероятном наплыве математических статей, ожидающих публикации, «человек» просто обязан (увы!) подвергать самому суровому отбору присылаемые ему на суд результаты; неважно, хочет он того или нет. Он произнес это с такой непритворной печалью, как если бы он сам, отчасти, оказался жертвой неотвратимой судьбы. С той же ноткой искреннего огорчения в голосе он продолжал о том, что он и сам (как это ни прискорбно!) входит в число тех «шести-семи человек во всей Франции», которые и решают, какие работы заслуживают публикации, а какие — нет. Я лишь промолчал тогда: с годами теряешь словоохотливость. Сказать в ответ можно было немало, но это был бы напрасный труд. Месяц или два спустя я узнал, что этот мой коллега несколько лет назад не пропустил в CR⁸ одну (по моим представлениям, актуальную и по сей день) заметку, которая явно заслуживала публикации. Человек, написавший эту статью, был мне далеко не безразличен; тему для заметки я сам предложил ему семь или восемь лет назад. Два года он занимался развитием этой темы (спору нет, модной ее не назовешь...). Я считаю, что он потрудился на славу, написал отличную работу (она была представлена как дипломная). Я не следил за его работой: этот молодой и, как оказалось, блестяще одаренный ученый (впрочем, кто знает — не бросил ли он математику после такого приема?) писал свой труд без моей помощи, за все два года ни разу не обратившись ко мне за советом. Другое дело, что догадаться о том, откуда исходит его тема, не составляло никакого труда — по крайней мере, для «посвященных». Бедняга: незащищенный, он попал под огонь, совершенно ни о чем не подозревая! Впрочем, надо отдать должное рецензенту: все необходимые формальности были соблюдены (меньшего я и не мог от него ожидать). Автор получил от него вежливое письмо: «...вынужден, к сожалению... искренне огорчен, но, ведь вы понимаете: объем журнала, ограниченность в средствах...» Итак, два года увлеченного, пылкого труда начинающего ученого против заметки в CR длиной в три страницы... Во сколько это обошлось бы общественным фондам? Нелепость вопроса бросается в глаза: усилия автора с одной стороны, и предполагаемая «награда» с другой явно несообразны. Без сомнения, во всем этом можно разобраться, если принять во внимание все силы, которые участвовали в игре. Никто, кроме моего прежнего друга и коллеги, не может заглянуть к нему в душу и разгадать причины, побудившие

⁸Comptes rendus de l'Académie des Sciences — Доклады Академии Наук — *прим. перев.*

его тогда закрыть дорогу статье молодого автора — так же, как за свои чувства и побуждения отвечаю я сам, и никто другой. Впрочем, в одном я уверен: «невероятный наплыв» математических результатов, скудость общественных фондов или, скажем, забота о том, чтобы сэкономить время воображаемого «неизвестного читателя» *CR*, — не более чем пустые предлоги.

Тот же самый проект заметки в *CR* в свое время был предложен на рассмотрение еще одному из «шести или семи человек во всей Франции». Этот видный ученый вернул работу научному руководителю автора, пояснив, что «не нашел в ней для себя ничего забавного» (дословно!). При случае я заговорил об этом с суровым «рецензентом». Оказалось, что он тогда внимательно прочел эту статью и даже дал себе труд над ней поразмыслить (надо думать, она пробудила в нем кое-какие воспоминания...). Он обнаружил, что некоторые утверждения можно было бы сформулировать иначе, так, чтобы потом их было удобнее применять. Однако, он не счел нужным уведомить об этом автора: в самом деле, тратить драгоценное время... И снова: пятнадцать минут знаменитого математика против двух лет труда никому не известного молодого ученого! Знаменитый математик, впрочем, все же нашел этот труд достаточно «забавным», чтобы возобновить свои размышления о его предмете. Эта тема у него, как и у меня, вызвала, без сомнения, множество разнообразных геометрических ассоциаций. Находки молодого автора он тут же принял к сведению и без труда (стоит ли удивляться — с *его* опытом и с *его* мастерством!) выявил огрехи и пробелы в предложенной работе. Он потратил время не даром: его представление об определенной математической ситуации стало точнее и глубже — благодаря работе, которую молодой ученый выполнил своими руками. Конечно, Мастеру хватило бы нескольких дней, чтобы разработать ту же самую тему (в общих чертах и без доказательств). Покончив с размышлениями о математике, именитый ученый вспоминает, кто он такой... Вопрос закрыт: двухлетний труд господина Безымянного отправляется в корзину для бумаг.

Все мы любим объяснять свои поступки самыми благородными побуждениями. Прекрасные истины можно провозглашать на всех углах, посвящать им воззвания и трактаты — но какой в том прок, если ветер презрения бушует повсюду, заглушая голоса, срывая афиши? Кто-то к нему привык, кто-то не замечает его, но у меня и по сей день от этого ветра перехватывает дыхание. Конечно, это был исключительный случай: не каждый день рецензенты отвечают авторам в таких изысканных

выражениях! Но дело не только в этом. В той же беседе мой прежний друг поведал мне, не без скромной гордости, что он рекомендует заметки в CR только в двух случаях: когда предложенные результаты его поражают, или когда он не знает, как их доказать⁽²⁷⁾. Потому-то, без сомнения, он и не публикует почти ничего. Если бы ему вздумалось применить это жесткое правило к своим работам, он бы вообще ничего не публиковал. (Другое дело, что в его положении он в этом и не нуждается.) В математике он находится в центре научной жизни; удивить его, должно быть, непросто — как, впрочем, и придумать что-нибудь такое, что он не сумел бы доказать, при условии, что доказательство вообще существует. (И то и другое мне удавалось всего два-три раза за двадцать лет — да и то лет десять или пятнадцать назад!) Он явно гордился своими критериями «качества» научной работы. Еще бы: вооружившись ими, он становился в своих глазах рыцарем Великой Математики; его требовательность к чужому мастерству беспощадна. Но, глядя на него, я видел, что он, как водится, лишь потворствует в этом своим собственным прихотям, и что за его милыми манерами и скромной улыбкой скрывается безудержное высокомерие. А еще я видел, что, ставя себя выше своего ближнего, он получает от этого огромное удовлетворение.

Это тот случай, когда «новая этика» математического мира находит в лице одного из нас свое крайнее воплощение. И все же, в известном смысле, он весьма типичен для научной среды. Во всем этом есть какая-то невероятная, чудовищная нелепость: история о том, как двухлетний труд молодого ученого был отвергнут по капризу зазнавшейся знаменитости, звучит дико для постороннего уха. И кредо нашего великого математика, на котором он основывал свой отказ, слишком явно идет вразрез со здравым смыслом... Это несоответствие так велико, что ни тот мой прежний друг, с его выдающимся интеллектом, ни его коллеги чином пониже (которые из осторожности просто не посылают своих статей ему на проверку) по странной близорукости уже не замечают его. И в самом деле: чтобы увидеть, нужно сначала поднять голову и взглянуть. Зато, если человек всерьез надумает разобраться в чьих-либо побуждениях (в первую очередь, в своих собственных), то странная несообразность, о которой я говорил, рано или поздно остановит на себе его взгляд. А потом, если еще присмотреться, станет ясно, что несообразности нет и не было. Смысл всего происшедшего, скромный и очевидный, заговорит с тобой простым языком, в насмешку над мудрыми толкованиями.

В последние годы мне все чаще и чаще приходится сталкиваться с проявлениями «новой этики» в математической среде. Такие столкновения иногда бывают особенно болезненными. Это случается, когда я узнаю себя в том, что слышу и вижу перед собой — таким, каким я был много лет назад. Мои взгляды, мое поведение словно бы возвращаются ко мне из тех давних времен искаженными, нелепыми до гротеска. Порой я терял терпение, и во мне просыпался забытый было боевой дух: глядите, вот явное зло, его необходимо сейчас же искоренить! Но если я и шел на поводу у подобных мыслей, то всегда без настоящего убеждения. В глубине души я знал, что бороться — значит скользить по поверхности, боясь заглянуть в суть вещей. Мой долг — не в том, чтобы обличать пороки или стараться улучшить мир, и даже не в том, чтобы «улучшать» себя самого. Я живу для того, чтобы учиться, узнавать: познавать мир, изучая собственную душу — и, изучая мир, через его посредство познать себя самого. Принести пользу себе и другим я смогу лишь постольку, поскольку останусь верным своему предназначению. Жить в согласии с самим собой — вот и все, что требуется. Пора бы мне помнить об этом, и пускай эти старые воинствующие механизмы по привычке заводят в моей душе свою давнюю песенку! Говорится в ней, конечно, о том, что я должен стать на защиту погибшей морали, вызвать на бой «новую этику», пришедшую ей на смену... Но к истинному знанию, к открытию ведет только одна дорога; выбравший ее занят лишь тем, что *исследует* свои находки и дает им *описание*. Две-три предыдущие страницы я писал, не преследуя иной цели, кроме как сказать несколько слов о современных нравах в математической среде и о том, как они изменились за двадцать лет. И с каждой новой строчкой мне все сильнее хотелось все перечеркнуть и выкинуть в мусорную корзину. Однако, я сохранил эти страницы: даже если они создают у читателя ложное впечатление (будто я, обличая чужин пошочки, не нахожу их в себе самом), все же они написаны достаточно искренно. А уничтожить их мне хотелось именно потому, что, пока я их писал, я чувствовал, что так ничему и не научился. Решительно, здесь есть над чем поразмыслить — что ж, этим я и займусь. Довольно наставлять и убеждать других: ясно же, что сучок в чужом глазу всегда видней⁽²⁸⁾.

34. Похоже, что мой «обзор», по существу, завершен. Я тщательно перебрал свои воспоминания о том, как складывались мои отношения с математиками (всех возрастов и чинов) в те времена, когда я сам был еще добропорядочным обитателем математического мира. Я уже много

раз говорил о том, как изменилась математическая среда с тех пор, как я впервые увидел ее вблизи. В ходе этого обзора мне хотелось прежде всего понять, какую роль я сам сыграл в этих переменах. Определенное настроение, не вдруг, но исподволь, постепенно, завладело умами. Я и спросил себя, в какой мере (своими поступками, выбором своего нравственного кредо и т.д.) я мог способствовать тому, чтобы этот новый дух так широко распространился в математическом мире, поглотив все и вся. В ходе этого размышления — или, лучше сказать, путешествия по дорогам прошлого, я четырежды столкнулся с одной и той же ситуацией, повторенной и перепетой на разные лады. Мне кажется, что она верно характеризует мои тогдашние взгляды, и в первую очередь — неоднозначность моих представлений о добре и зле, то, что называют «двойным стандартом». Четыре раза на моей памяти (а на деле, быть может, намного чаще) естественную доброжелательность к людям совершенно заглушали во мне силы иной природы: прежде всего, *самолюбие*. По-видимому, мне казалось, что мои умственные способности (по сути, развитая в постоянных упражнениях мозговая мышца) и «научные заслуги» (ведь я вкладывал в математические занятия все свои силы, не зная меры) дают мне право ставить себя выше других. Это представление вполне соответствовало общепринятой в те годы шкале ценностей в нашей среде. Интеллектуальные возможности и полная самоотдача в математике ценились у нас выше всего, практически без оговорок.

История с «юным неучем», или с «молокососом, который, не спросившись, забрался в мой огород», из всех четырех представляется мне особенно важной для моей настоящей цели. Три других главным образом характеризуют меня лично, мой собственный образ мыслей в такие-то и такие-то годы (так что их нельзя рассматривать вне контекста). Но, как я уже не раз отмечал, они совсем не характерны для обстановки тех лет в нашей среде. Не думаю также, чтобы они были особенно типичны для теперешней атмосферы в математическом мире — скажем, во Франции. Например, в случае с моим «терпеливым другом» увидеть вещи так, как они есть, мне явно мешало какое-то хроническое заблуждение. Сейчас я смотрю на это, как на болезнь — по-видимому, до сих пор достаточно редкую в любой среде. Напротив, мое поведение в случае с «юным неучем» было бы более чем естественно для сегодняшней обстановки в математическом мире. В наши дни сделалась редкостью именно ничем не обоснованная доброжелательность. Часто ли нынче встретишь влиятельного математика, который тепло, с уважением принял бы обратившегося к нему за поддержкой безвестного молодого ученого? Нет;

разве только этот начинающий математик — его собственный ученик (да и то...) или рекомендован нашему светилу науки кем-нибудь не менее авторитетным и важным. До своего «пробуждения» в 1970 году я этих перемен просто не замечал. После я начал кое-что понимать: люди уже не боялись говорить со мной о подобных вещах. Тогда до меня стали доходить самые разнообразные свидетельства, что называется, «из первых рук», но поначалу я воспринимал их несколько отстраненно: ведь ни меня, ни моих ближайших друзей-математиков они напрямую не касались. Однако, начиная где-то с 1976 года, эти разговоры стали задевать меня сильнее: действующими лицами долетавших ко мне свидетельств (некоторые из этих историй, впрочем, разыгрывались у меня на глазах) все чаще оказывались мои друзья и даже бывшие ученики, понемногу приобретающие влияние. А главное, «по ту сторону барьера», в ряду «безвестных», теперь уже стояли люди, мне далеко не безразличные. Не раз жертвами каприза «власть имущих» становились, опять-таки, мои собственные ученики — но, конечно же, ученики «после 70-го». Ведь именно в эти годы среди моих прежних друзей и прочих коллег стало хорошим тоном посмеиваться над моим направлением в математике, называя его не иначе, как «гротендичью». Молодой ученый, осмелившийся (не обязательно под моим руководством!) работать над какой-либо из «гротендических» тем, уже тем самым обрекал себя на подчеркнуто недоброжелательный, если не откровенно презрительный, прием у высокопоставленных особ в математике...

Тот «юный неуч» снова обратился ко мне с письмом в начале семидесятых. В нем он очень вежливо осведомлялся (отметим, что он был вовсе не обязан этого делать!), нет ли у меня возражений против того, чтобы он опубликовал свое доказательство одной из теорем, которая, как ему сказали, принадлежит мне. (Эту теорему я, в самом деле, в свое время сформулировал; ее доказательство к тому моменту еще ни разу не было опубликовано.) Помнится, по своему обыкновению, я ответил ему весьма сухо. Не говоря ни «да», ни «нет», я дал ему понять, что его доказательство (которое он, конечно же, готов был мне сообщить — но я был слишком погружен в свою деятельность на общественной ниве, чтобы проявить к этому какой-либо интерес!) к моему собственному ничего не прибавит. Однако же, в этом я ошибался: опубликованное, напечатанное черным по белому доказательство (как и само утверждение) теперь могли прочесть другие люди — а это немало! Отсюда видно, как мало изменило меня пресловутое «пробуждение»: глубокие корни самодовольства в ней остались нетронутыми. А ведь как раз в то самое

время я писал в «Survivre et Vivre» прочувствованные статьи о так называемой «меритократической позиции», обличал ее на всевозможных собраниях...

Не так давно я спрашивал себя, удалось ли мне тогда, в 1970 году, избавиться от самодовольства. Вот ответ — и, пожалуй, исчерпывающий. Приходится признать эту скромную истину: самодовольство отнюдь не ушло из моей жизни «раз и навсегда» в день моего пробуждения. Думаю, что, пока я жив, оно со мною останется. А если в тот день в моей душе и впрямь произошли перемены, то они заключались не в том, что те или иные черты моего характера якобы исчезли без следа, а в том, что появились новые. У меня возник (или вернулся ко мне?) интерес к себе самому, к тому, на чем в действительности основываются мои взгляды, мое поведение в тех или иных ситуациях и проч. Это-то любопытство и привело к тому, что я стал замечать, как тщеславие проявляется в моей жизни. Моя вновь обретенная чувствительность в свою очередь повлияла на работу каких-то внутренних механизмов. Теперь сила, называемая «тщеславием», не так опасна: ее проще держать под контролем. Природа же этой силы такова, что под ее воздействием искажается здоровое, непосредственное восприятие действительности; человек начинает без меры превозносить свои достоинства, пытаясь любой ценой поставить себя выше других. Иногда (например, в моем случае) человек при этом старается представить дело так, будто он — сама скромность, и благо человечества — его единственная забота.

Не найдет ли читатель здесь противоречия, не почувствует ли себя сбитым с толку? Ведь я и сам растерялся однажды, обнаружив, что *тщеславие* в моей профессиональной жизни и то, что я зову своей *любовью*, или *страстью*, к математике, во всем противоположны друг другу. Но, заглянув в собственную душу, не найдет ли и в ней читатель верных признаков того же противостояния? Если такая совместимость несовместимого и впрямь уводит почву из-под ног, то все же именно в ней мы обретаем необходимую связь с живой действительностью. Она позволяет нам увидеть вещи такими, как они есть, вместо того чтобы без роздыху, как пойманный бельчонок, вертеться в бесконечном колесе слов и концепций.

Вода в реке бывает мутной, но значит ли это, что вода и грязь — одно и то же? Чтобы увидеть воду без грязи, достаточно подняться к источнику: там, наверху, любуйся и пей вволю. Чтобы увидеть грязь без воды, нужно выйти на берег, иссушенный солнцем и ветром, наклониться и своей рукой отделить комок зернистой глины. Так амбиции и

тщеславие чужды настоящей любви, но они могут сопутствовать ей — тем неотступнее, чем богаче вознаграждается страсть. Кое-что, в самом деле, зависит от них: в погоне за наградами страсть, смешанная с тщеславием, может стать всепожирающей. Но честолюбие, пускай самое пылкое, не в силах сотворить ничтожнейшей из вещей, совершить самое что ни на есть пустячное открытие! В ходе самого труда, когда понимание рождается понемногу, принимает форму, становится глубже, когда хаос оборачивается порядком — или когда вещи, такие привычные с виду, приобретают как будто странные свойства; присматриваешься ближе, беспокойство растет, и противоречие, наконец, выплескивается наружу, переворачивая с ног на голову твое представление о том или ином уголке мира, до тех пор казавшееся нерушимым, — словом, в то время, когда идет настоящая работа, тщеславие уходит со сцены. И тогда нечто особенное ведет в танце: оно выходит далеко за пределы нашего «я» с его бесконечным стремлением превознести собственную значимость (чем бы оно ни кичилось, «умением» или «знанием»), за пределы человеческой личности и даже, быть может, самого рода человеческого.

Таков источник, и каждый из нас может к нему подняться.

35. У меня в жизни было три главные страсти. И в конце концов я понял, что за ними, по сути, стояло одно и то же глубокое стремление. Это — стремление к познанию; три страсти — три дороги, на которых почему-либо остановился его выбор. А сколько было других возможностей, не сосчитать; ведь и мир бесконечен.

Первым из трех во мне проснулось влечение к математике. Когда мне было семнадцать лет (я только-только окончил лицей), меня заинтересовала эта наука. На вид это была вполне безобидная склонность, которой я и поддался. Однако, она довольно скоро переросла в настоящую страсть, и управляла моей жизнью ни много, ни мало — двадцать пять лет кряду. Я «познал» математику задолго до того, как познал свою первую женщину (если не считать той, с которой я был в такой непостижимо тесной связи с самого своего рождения). И надо сказать, что эта первая в моей жизни страсть, несмотря на годы, по сей день не утихла до конца. Она больше не управляет моей жизнью; от нее, как и от меня самого, в общем, ничего не зависит (и я уже не пытаюсь сделать вид, что это не так). Иногда ее зов становится тише, а подчас как будто и вовсе умолкает — но лишь с тем, чтобы в один прекрасный день вдруг заговорить снова, пылко, как никогда. Когда-то это была, что называется, всепожирающая страсть; но я уж больше не отдаю ей своей жизни

на растерзание. И все же она оставила глубокий отпечаток в моей душе; думаю, годы его не изгладят. Так память любовника хранит образ первой возлюбленной, не замечая прошедших лет.

Поиск женщины — вторая страсть в моей жизни. Искать женщину, вообще говоря, не то же самое, что искать для себя подругу или жену; мне удалось взять это в толк не раньше, чем самый поиск для меня завершился. Это случилось со мной, когда я понял, что то, что я искал, найти невозможно. И не нужно, потому что всю дорогу я носил истинный объект своих поисков в себе самом. Страсть к женщине заговорила во мне в полный голос лишь после того, как умерла моя мать (и пять лет спустя после моей первой любовной связи, от которой родился сын). Тогда, двадцати девяти лет от роду, я и женился; у нас появилось трое детей. Привязанность к детям оказалась для меня неотделимой от любви к их матери. Полюбив женщину, ты чувствуешь, что от нее исходит некая сила; неведомое силовое поле действует на тебя, притягивает к источнику. Привязанность к общим с ней детям — часть этой силы.

Эти две страсти во мне с самого начала между собой жили мирно, не вступая в конфликт. Вероятно, в глубине души я ощущал близкое родство между ними. С появлением в моей жизни третьей страсти (не раньше) я, наконец, ясно увидел связывающие их нити, и в полной мере ощутил глубину их единства. Все это так — но все же страсть к математике и любовь к женщине, взятые по отдельности, влияли на мою жизнь совершенно по-разному. Первая из них завела меня в некий странный мир, все обитатели которого — математические объекты. Конечно, это совсем не призраки в воздушных замках: в мире математики все настоящее, у него есть своя реальность. Но иная; мы, люди, живем по другим законам. Глубоко вникнув в математическое мироустройство, я не узнал ровным счетом ничего нового ни о себе самом, ни, тем более, о своем ближнем. Страсть к исследованию неизвестного в математике могла лишь отдалить меня от загадок человеческой души (в том числе и моей собственной), а никак не приблизить к их разрешению. Поэтому, говоря о зрелости, приходящей с годами, надо признать, что в моем случае любовь к математике нисколько не способствовала ее приближению. Впрочем, я сомневаюсь, что здесь кто-либо может похвастаться противоположным опытом ⁽²⁹⁾. Спору нет, эта, первая по счету, страсть в свое время занимала в моей жизни огромное, непомерно широкое место — которое я сам был рад ей предоставить. Причина проста: так мне было легче не замечать конфликта в своей жизни и вообще о самом себе особенно не задумываться.

Напротив, половое влечение, хотим мы того или нет, вырывает нас из уютных убежищ, бросая прямо навстречу друг другу. Где там укрыться от конфликта! Не успеешь оглянуться, и ты уже в эпицентре душевных бурь, в самой воронке. Думая о жене, о подруге, я обманывал себя поиском «ничем не омрачаемого блаженства». Но в этом поиске *не было* полового влечения как такового (хоть мне тогда и хотелось думать иначе). А был всего лишь страх, стремление подальше укрыться от конфликта — в себе самом, в душе другого. (Вот одна из двух вещей, которые мне было необходимо понять, чтобы мой призрачный поиск мог, наконец, завершиться. И тогда утихло беспокойство, лежавшее мрачной тенью на этой тупиковой дороге...) К счастью, беги — не беги, а влечение пола быстро поставит тебя лицом к лицу с твоими конфликтами!

Конфликт, возникавший то здесь, то там в моей жизни, словно бы настойчиво старался преподать мне какой-то урок; в один прекрасный день я решил, наконец, честно его выслушать. И тогда оказалось, что все то новое, что я узнавал, исходило от женщин, которых я любил (и от детей, которые у нас рождались) ⁽³⁰⁾. Вплоть до 1976 года, то есть до моих сорока восьми, поиск женщины был единственной силой в моей жизни, приближавшей меня к зрелости. Если за все последующие семь лет мне не удалось достичь ее в полной мере, то лишь потому, что я сам ставил себе препятствия на дороге. Ведь с настоящей зрелостью всегда связано ясное представление о таких вещах, на которые принято закрывать глаза. Так поступали мои родители; это был неписанный закон повсюду вокруг меня, куда бы я ни попал. Лучшим способом не замечать очевидного для меня было — погрузиться с головой в математику.

Третья страсть появилась в моей жизни однажды ночью, в октябре 1976 года. С ее приходом у меня исчез страх перед тем, чтобы учиться и узнавать новое. Он же — страх перед реальностью вещей, самой незамысловатой, перед скромными истинами, касающимися прежде всего меня самого и дорогих мне людей. Странно, но я никогда не замечал у себя этого страха — вплоть до той самой ночи, когда меня, можно сказать, осенило впервые за все мои сорок восемь лет. Зато, как только я его обнаружил, он тут же пропал, уступив место новой страсти, третьей по счету. Стремление к познанию опять заговорило во мне, явившись под новой личиной, и от уверенных звуков его голоса все разом стало на места. Я вспомнил, что еще много лет назад начал замечать сходную боязнь новых знаний и впечатлений у других людей, в то время как в себе самом не видел ее совершенно. Страх открыть что-то непредвиденное в своей собственной душе мешал мне обнаружить в ней, прежде

всего, именно этот страх! У меня, как вообще у всякого человека, еще в раннем детстве сложилось определенное представление о себе самом; причем, с годами оно, в своих существенных чертах, почти не менялось. Образ этот, конечно же, мне льстил; мне совсем не хотелось его разрушить. Но той октябрьской ночью он, уже изрядно постаревший, усох, как говорится, прямо на глазах, и формы его тут же утратили привычное благородство. На обломках старого возник новый, подобный ему образ, за ним — еще и еще; каждый новый фантом держался несколько дней или месяцев (а бывало, год или два), не рассыпаясь лишь благодаря крепким, цепким силам душевной инерции. Но стоило на тот или иной из них взглянуть повнимательнее, как дутая фигурка вдруг распадалась, и обман выступал наружу. Иногда очередное пробуждение задерживалось из-за самой обыкновенной лени: как следует взглянуть себе в душу — немалая работа. Но *страха*, боязни открыть глаза уже не было. Потому что, как только появляется любопытство, страх проходит. А у меня с той ночи появился интерес к тому, что же творится в моей собственной душе, так что новых, самых неприятных, находок я уже не боялся. Наоборот; это как в математике, когда стремишься разобраться до конца в той или иной ситуации. Тогда живешь в каком-то радостном ожидании, нетерпеливом подчас, а все-таки упрямом: пока не дойдешь до последнего слова, не хочется отступаться. И тогда ты готов принять все, что идет навстречу твоему ожиданию, предвиденное или непредвиденное. Ты вглядываешься в суть предмета со страстью, с нежным вниманием — и оно, это внимание, не пропустит нужного знака. Сигнал получен, картина яснее, и вот уже в исходной смеси ложного, отчасти верного и «кажется, вероятного» ты безошибочно различаешь истину.

В любопытстве к себе самому есть любовь, и ее немало не тревожит то, что вещи, которые нам предстоит увидеть, могут обмануть наши чаяния. Эта любовь незаметно поселилась во мне еще за два месяца до пресловутой октябрьской ночи — но тогда, в минуту пробуждения, она приняла действенную, даже предприимчивую форму. Она лишь шевельнулась — и прочь полетели все костюмы и маски, осыпался грим! Как я уже говорил, новый маскарад не замедлил явиться на смену прежнему — но как он сам, так и те, что, в свою очередь, приходили его заменить, недолго ждали своего полного разоблачения. При этом я не испытывал ни разочарования, ни досады; обошлось без «зубовного скрежета»...

Проявления новой страсти за последние семь лет вошли для меня в некий ритм. Они приходили приливами и отливами, прилетали свежим

дуновением с океана. И оно, насыщенное солью, охватывало пространства, проникало в душные квартиры застоявшейся мысли, несло в себе умиротворение. Здесь не место попыткам составить график таких «посещений», проследить волнистую, переменчивую линию, которая приносит их и уносит. По тем же законам живет во мне страсть к математике, но и ее поведение мы здесь не станем описывать, ибо как составишь карту дождей и ветров человеческой души? Отказавшись служить у самого себя метеорологом, я больше не предсказываю погоды и не пытаюсь управлять движением обеих стихий. Скорее, наоборот: они вдвоем, объединившись, выбирают русло для дальнейшего течения моей жизни. А еще точнее, они и *есть* это русло, этот маршрут.

Еще за несколько месяцев до того рубежа в моей жизни, о котором я говорил, начала преобразовываться, меняя облик, одна из двух моих прежних страстей, — та, что раньше вела меня на поиск женщины. То был период душевного насыщения: накопленные впечатления спокойно усваивались где-то внутри, выравниваясь по краям, собираясь в одну общую картину. Беспокойство, прежде всегда сопровождавшее мысли о женщине, постепенно исчезло — и тогда опять пришло облегчение. Тяжесть с плеч, и дыхание вновь обретает ритм и глубину. Так слабенький огонек, задыхаясь от недостатка свежего воздуха, от внезапного порыва ветра разгорается, да так живо, так ярко, что стоишь и не веришь своим глазам. Горит костер, слегка потрескивают в нем сучья, высоко взлетает веселое пламя!

Пламя, однако же, догорело своим чередом. Голод, казавшийся неутолимым, утих и больше не возвращается. Вот уже два года, как та, вторая по счету, стихия не давала о себе знать; она, как видно, ушла со сцены. В освобожденном пространстве теперь гуляют две бури. Одна из них, страсть моей юности, тридцать лет кряду заслоняла от меня воспоминания моего детства, от которых, впрочем, я и рад был отвернуться. Другая же — страсть моих зрелых лет; она, сбросив пыльную завесу, разбудила и ребенка во мне, и детство, в котором он жил.

36. В ту же ночь, когда я, наконец, излечился от своего застарелого страха (и новая страсть в моей душе заняла его место), со мной случилась еще одна неожиданная вещь. Я открыл для себя медитацию. Я медитировал впервые в жизни; к этому «открытию» меня подтолкнула срочная, безотлагательная необходимость. К тому моменту меня уже несколько дней мучило странное беспокойство. Тревога подступала волнами, в буквальном смысле слова захлестывая с головой. Что-то «не клеи-

лось», не сходилась; впрочем, беспокойство, наверное, всегда рождается от острого ощущения какого-то внутреннего несоответствия. В данном случае, мое устоявшееся представление о себе самом (сорокалетней давности), которое я за все эти годы ни разу не пробовал обновить, уже слишком явно не отвечало скромной действительности. А с другой стороны, меня подхлестывала жажда все узнать, во всем разобраться. Был, конечно, соблазн снова отвернуться и закрыть глаза, но тревога все нарастала, и от нее хотелось избавиться. Труд был напряженным, он продолжался несколько часов до полной развязки, причем я сам все это время не понимал до конца смысла происходящего и не знал, к чему моя работа меня приведет. Спрашивая себя, что же в конце концов творится в твоей собственной душе, всегда (подсознательно) стремишься уйти от прямого ответа. В ходе работы я раз за разом ловил себя на подобных попытках. При этом каждая новая увертка выдавала себя за долгожданный ответ, за внутреннее убеждение, которое мне наконец-то удалось, черным по белому, сформулировать. Я с удовлетворением все это записывал, нимало не сомневаясь в истинности очередного «откровения». В подобном обороте дела, несомненно, был определенный соблазн, если я с такой готовностью ему поддавался. Мне казалось, что если какая-то мысль, идущая изнутри, нашла дорогу к бумаге и чернилам, то это одно уже — достаточное обоснование, и других доказательств ее подлинности не требуется. И не владей мною тогда нескромное, чтобы не сказать неприличное, желание во всем разобраться — иными словами, стремление к познанию, — я бы так и поставил точку на этой радужной ноте. «Нарру энд», как говорится; между прочим, как раз в таком настроении я и завершал каждый этап. Но уже в самом конце — вот еще беда на мою голову! — мне, Бог знает отчего, приходило в голову лишний раз, повнимательнее, присмотреться к тому, что я только что понял и записал (к своему полному удовлетворению). В самом деле, ведь все уже готово, изложено черным по белому на листе бумаги; остается только перечесть — забота невелика. И вот, ничего не подозревая, я беру в руки свой текст; позвольте, позвольте! Здесь какая-то неясность, и логика в этом месте прихрамывает... Всматриваюсь пристальнее — и становится все более ясно, что мои последние откровения, от начала и до конца, сплошное вранье. Я, что называется, спутал Божий дар с яичницей: сам себя обвел вокруг пальца. Это маленькое открытие всякий раз являлось неожиданно, и несло с собой столько нового света и сил, что знаменитое: «Есть еще порох в пороховницах!» — чуть только не срывалось с языка. В радостном изумлении (усталости как не бывало!) я снова

пускался по той же дороге. Вперед; мы непременно доберемся до последнего, все разъясняющего слова. Только не сбавлять шагу, ведь это вот-вот случится. Небольшой итог, уточнить свои позиции... и перед нами — новое внутреннее убеждение, на вид со всеми необходимыми атрибутами «завершающего слова в нашей истории». На сей раз мы просто не могли промахнуться: конечно, это именно то, что мы искали. Надо, однако же, изложить его на бумаге — не потому, что я, Боже упаси, усомнился в истинности собственного убеждения, а так, для очистки совести. И потом, записывать такие разумные, глубоко прочувствованные мысли — одно удовольствие; уж не знаю, кем надо быть, чтобы с этим не согласиться. Неподдельная искренность, истинное прямотушие налицо; работа, положив руку на сердце, просто безупречна!

И это был новый «happy end», завершение очередного этапа. И снова я был бы рад остаться, задержаться на этом пороге, кабы не бессовестный сорванец, которому (где-то в темноте, в глубине моей души!), хоть ты его убей, никак не спалось. Голос рассудка ему не указ, и вот он опять решает сделать по-своему (неисправимый ослушник, что говорить!). Увы, стоило ему сунуть свой нос в мои «документы», заверяющие последнее слово — и такие безупречные в своей аутентичности! — как уловка раскрылась, и все это снова оказалось грубой подделкой. Как и в прошлый раз, об отдыхе пришлось позабыть; в дорогу, до следующего поворота!

Так продолжалось добрых четыре часа: этапы следовали один за другим, как луковые «одежки без застежек», которые я, стремясь добраться до сути, счищал ножом в нетерпении. (Образ луковицы, как подходящее сравнение, пришел мне в голову в конце той октябрьской ночи.) Загадка не осталась без ответа; *ядро*, скрытое от глаз сотней слоев обманчивой шелухи, в конце-концов увидело свет. Истина, которая мне тогда открылась, оказалась совсем простой и очевидной (и при этом, откровенно говоря, до слез резала глаза). Каким-то образом мне, однако же, удавалось прятать ее от себя целыми днями, неделями (да что там, всю свою жизнь) за бесконечными слоями наросших одна на другой «луковых шкурок».

Когда скромная истина, наконец, явилась ко мне, я испытал неимоверное облегчение. Освобождение пришло вдруг, не задерживаясь на пороге — полное и бесповоротное. В ту же секунду я понял, что держу в руке исходный узел, откуда ко мне тянулись все смутные нити странной тревоги. И она, эта неотвязная тревога последних пяти дней, в самом деле вдруг разрешилась. Растворившись, она начала превращаться в но-

вое знание, которое постепенно, небольшими кристаллами, уже осаждалось на дне души. Беспокойство не то чтобы просто отпустило меня на время, как это несколько раз случалось раньше — в предыдущие пять дней и во время самой медитации, — в ответ на уступку совести, по договору, который я заключал сам с собой. Превращение тревоги в моей душе на сей раз не остановилось на призрачном уровне идеи — то есть чего-то внешнего, как бы искусственно привитого и, по сути, чуждого мне. Нет, она стала *знанием* в полном смысле этого слова — знанием о скромном и очевидном, отныне неотделимым от меня, как плоть или кровь. Более того, для нее, наконец, нашлись слова; и формулировка получилась ясной, без обиняков и недомолвок. Взамен долгих разглагольствований — совсем простенькая фраза длиной всего-то в три-четыре слова. И переход от мысли к словам был завершающим этапом всего труда; пока не сделан этот последний шаг, пресловутое превращение, все еще обратимое, не доведено до конца. На всем протяжении этой работы тщательный, даже скрупулезный, выбор слов для выражения чередой приходящих мыслей, представлял собою существенную часть самого труда. Каждый новый этап работы начинался, по сути, как осмысление всего, что происходило в моей душе в ходе предыдущего этапа. При этом у меня перед глазами лежало неоспоримое свидетельство: дорожный дневник, отчет о том, как одевались в слова идеи, появляясь на горизонте. Теперь я уже не мог сослаться на то, что неверная память, разводя ясность моих впечатлений туманом размытого времени, якобы отказывается мне служить!

Вслед за моментом откровения и внезапной свободы пришло новое чувство: я вдруг ощутил всю значимость того, что произошло со мной минуту назад. И мне довелось открыть для себя еще одну вещь, которую я ценю еще дороже, чем скромную истину, вызревавшую в моей душе несколько дней. Я понял, что узнать все до конца, осмыслить то, что происходит ко мне — в моей власти, стоит лишь захотеть. В моих силах дойти до конца трещины, расколовшей мой внутренний мир, хоть бы и по самому ее краю — и увидеть источник глубокой амбивалентности в моем отношении к людям и к себе самому. Я могу, собственноручно протянув нити Ариадны, добраться до самого узла спутанных противоречий, конфликтов в своей душе, и уже тем самым разрешить их все до одного. Этого разрешения я ждал, как *милости* откуда-то с неба, во все предыдущие годы. Но я ошибался, ибо оно достигается лишь напряженным *трудом*, упорным и педантичным — обыкновенной, настоящей работой. Таких подарков, как внезапное и полное разрешение нашего

внутреннего конфликта, или хотя бы (пришедшее вдруг) умение увидеть его в себе, жизнь нам не подбрасывает на дороге. А если здесь и есть «милость», то она — в том, что стремление к познанию, приняв облик странника в мире наших душ, соблаговолит, по собственному почину, нас посетить ⁽³¹⁾. Оно-то и вело меня несколько часов подряд к самой сердцевине конфликта в моей душе, не давая ни минуты роздыха. Так страстное желание в любви ведет нас к сердцу любимой женщины по самой верной дороге.

Если же ты за работой не слышишь в себе такого желания, то твой так называемый «труд» — не более чем притворство. И здесь неважно, изучаешь ли ты математику или собственную душу; он все равно ни к чему тебя не приведет. В лучшем случае, ты приблизишься к разгадке и, не чувствуя тепла от огня, станешь бродить кругами вокруг котла. Похлебка в нем — для того, кто всерьез одержим голодом! У меня, как и у любого другого, порой наступали времена насыщения, когда жгучий голод пропадал, и желание открывать новые неожиданности не подавало голоса. Когда у меня исчезал интерес к себе самому, я попросту терял представление о том, что со мной происходит. Попадая в те или иные ситуации, я действовал совершенно бессознательно, по прихоти каких-то, несложно устроенных, внутренних механизмов. Причем, разумеется, со всеми вытекающими последствиями — как если бы автомобилем на трассе управлял не человек, а компьютер. Если же говорить о математике или о медитации, то мне и в голову не приходило делать вид, будто я «работаю», когда у меня не было этого голода, этого желания. Вот почему мне не случалось предаваться медитации, или математике, хотя бы лишь несколько часов ⁽³²⁾ кряду, не достигнув в конце какого-либо нового результата. И то, что я при этом узнавал, чаще всего (чтобы не сказать всегда) приходило, как некая *неожиданность*: начиная работу, я не мог предвидеть, какая именно находка ждет меня впереди. Это не имеет отношения к каким-либо природным способностям (есть они у меня или нет); дело просто в том, что, если у меня нет настоящего желания, я никогда не берусь за работу. (Сила этой страсти, и только она, будит в человеке ту самую *требовательность*, о которой я уже когда-то говорил; она, в свою очередь, не дает работнику остановиться на полдороге, или даже у самой цели. Она ведет нас, не отпуская, до тех пор, пока мы не достигнем полного понимания исследуемой ситуации, — даже если все дело, на первый взгляд, не стоит выеденного яйца.) Повсюду, где речь идет об открытии, труд поневоле — сущая бессмыслица; так можно создать лишь видимость работы. По правде сказать, идея по-

пусту растрачивать свои силы на подобные представления меня никогда особенно не соблазняла. Ведь на свете столько интересных вещей, которыми всегда можно заняться! Например, можно просто заснуть (если время подходящее) — и видеть сны...

Думаю, что той же самой ночью, о которой здесь уже столько сказано, я и понял, что *желание* и *возможность* познать, открыть новое — по сути, одно и то же. Это желание, стоит лишь довериться ему, приведет нас к самым сокровенным глубинам того, что мы стремимся познать. Благодаря ему, мы безошибочно находим (по наитию, не пускаясь нарочно в утомительные поиски) самый действенный метод для нашего исследования — инструмент точь-в-точь нам по руке. Очень похоже на то, что в математике без пера и бумаги, в общем, не обойтись. Занимаясь математикой, человек прежде всего *пишет*. Это, конечно, верно для всякой исследовательской работы умственного толка. Но для «медитации», которую я понимаю, как труд исследования себя самого, записывать что бы то ни было в общем случае далеко не обязательно. Но для меня во время занятий медитацией перо и чернила просто необходимы. Как и в математике, они для меня здесь — существенная, реальная поддержка, задающая ритм размышления. Уже записанные мысли служат мне ориентиром, и мое внимание (которое, дай только ему волю, сорвется с места и полетит на все четыре стороны) легче держится в узде силой высказанного слова. К тому же, то обстоятельство, что от самого труда (как процесса) остается осязаемый след, часто оказывается полезным для дальнейшей работы. Когда медитация продолжается подолгу, в ходе ее нередко возникает нужда восстановить течение мысли в тот или иной момент времени, перелистнув на несколько дней — а бывает, и лет — назад по календарю.

Мысли и тщательному подбору слов для того, чтобы ее передать, принадлежит, как я уже говорил, важная роль в процессе медитации (по крайней мере, так это было со мной до сих пор). Однако, «важная» здесь не означает «исчерпывающая». К мысли прибегаешь в первую очередь для того, чтобы уловить противоречие в своем представлении о себе самом (или о своих взаимоотношениях с тем или иным человеком) — иногда самое невероятное в своей несообразности, вплоть до гротеска. Но для того, чтобы понять смысл подобного противоречия, ее возможностей зачастую недостаточно. Если ты всерьез одержим стремлением к познанию, то мысль для тебя — полезный, действенный инструмент, без которого иногда просто не обойдешься. Но все это верно лишь постольку, поскольку ты имеешь представление о пределах ее примени-

мости, очевидных в медитации (и не столь резко очерченных в математике). Мысль должна знать свое место и уметь отступать на второй план — незаметно, на цыпочках — когда на сцену выходит нечто другое, то, что не подчиняется рассудку. Это — всего лишь чувство: являясь, как гром среди ясного неба, оно проникает глубоко, в самое сердце. Что же перо? А оно все бежит по бумаге, спотыкаясь, сбиваясь на лепет...

37. Начинать здесь разговор о том, как я открыл для себя медитацию, вовсе не входило в мои намерения. Я стал писать об этом неожиданно для себя (почти что вопреки собственной воле). То, о чем я собирался говорить, следовало бы назвать *восхищением*. Пресловутой осенней ночью, столь щедрой для меня на находки, меня всякий раз охватывало восхищение при встрече с очередной неожиданностью. Даже во время работы я испытывал что-то вроде недоверчивого восторга при виде того, как распознается очередная уловка моего сознания, попытка увести мысль в сторону. Но ведь и впрямь происходило нечто невероятное: как если бы я вдруг заметил, что костюм, когда-то мне очень полюбившийся, на деле был скроен из мешковины и сшит кое-как, суровой ниткой! А я все это время всерьез считал его настоящей вещью, тонкой работы! В последующие годы это чувство не раз ко мне возвращалось, точь-в-точь таким же, как в ту первую ночь медитации. Таким веселым маскарадом началось для меня открытие неожиданного мира, который я носил в себе с самого рождения, мира, с тех пор день за днем открывавшего мне свое странное, удивительное богатство. И однако, с первых же шагов по его просторам (все той же октябрьской ночью), мне было чему восхититься помимо невероятных сцен того завораживающего карнавала. Ведь тогда я сразу же сумел заново обрести связь с одной давно забытой, долгие годы дремавшей во мне силой. Пока мне не удалось понять, какова ее природа; знаю только, что это мощная сила, которую я всегда могу призвать на помощь, стоит лишь захотеть.

Я ощутил ее присутствие в себе еще за несколько месяцев до того момента, когда моя связь с ней восстановилась вполне. И все эти дни я испытывал тихое, немое восхищение — перед тем, чей голос слышался мне еще не слишком ясно. Тогда она казалась мне не столько силой, сколько некоей внутренней мягкостью; в ней была красота, волновавшая меня и в то же время умиротворяющая. Позднее, ликование по поводу открытия в себе как будто новой (и такой давней) силы вытеснило в моей памяти месяцы молчаливого вынашивания вновь пробудившегося плода. О том, как я думал тогда, у меня не осталось сколько-нибудь надежных свиде-

тельств; разве что несколько разрозненных стихотворений. Это стихи о любви; думаю, они показались бы не слишком уместными в записках, посвященных медитации...

Прошли годы, прежде чем я вспомнил о тех временах, когда меня переполняло восхищение перед красотой мира и гармонией, во мне обретавшейся. И тогда я понял, что эта мягкость, эта красота, которые я ощущал в своей душе, и внутренняя сила, позднее мне открывшаяся (и тем самым глубоко изменившая мою жизнь), суть две неотделимые друг от друга грани некоего единого целого.

А еще мне стало ясно, что мягкий, сосредоточенный, молчаливый аспект этого многоликого целого и есть то, что мы называем творчеством. Он дает нам умение восхищаться. И в том же восхищении перед невыразимой красотой, заключенной в любимом существе — той самой, что, открываясь твоему взгляду, резко и как-то вдруг сжимает сердце — познают друг друга мужчина и женщина. Если же мы не слышим в себе этого восторга (будь то по отношению к любимому существу или к какой-либо вещи в мире, о которой мы хотим что-то узнать), тогда наша чувственная связь с миром убога и ненадежна, ибо ей недостает лучшего из того, чем благословляет природа. Объятие, не освященное восторгом, немощно и бессильно: жест обладания, бездушно, впустую воспроизведенный. Что может родиться от него, кроме таких же пустых, бессмысленных копий? Их может быть сколь угодно много, каждая из них может, с точки зрения масштаба, разниться с оригиналом — но признаков творчества, обновления, в них незачем и искать⁽³⁴⁾. Чтобы уметь восхищаться красотой всего, что заключено в мире и в нас самих, нужно быть, как дети — и тогда самообновление придет к нам легко и естественно, как воздух. В пальцах Работника мы станем послушными и тонкими инструментами; вещи и существа будут вернее и глубже перерождаться под его руками через посредство наших душ.

Говоря о нашей математической среде, я живо помню те времена, когда это восхищение сопровождало нас повсюду, готовое вспыхнуть в каждой душе и в любой момент. В пятидесятые годы и раньше, в конце сороковых, когда мы все жили дружно и между собой обходились без церемоний, — чересчур шумные, быть может, и слишком уверенные в себе, — когда безапелляционный тон отнюдь не был редкостью в разговоре, а категоричные суждения можно было услышать на каждом углу (без малейшего, впрочем, оттенка самодовольства), тогда самые разнообразные вещи в математике восхищали и радовали нас. У каждого это выражалось по-своему; живым воплощением творческого восторга

в нашем кругу, несомненно, был Дьедонне. Докладывал ли он или просто был в числе слушателей, но всякий раз в момент кульминации (или когда за словами докладчика вдруг открывалась неожиданная перспектива), Дьедонне сиял от радости, явно находясь на вершине блаженства. Заразительности его восторга было невозможно противостоять: восхищение от него словно бы передавалось волнами, отрешенное, безличностное; гордости, зависти в нем не было и следа. Сейчас, вспоминая об этом, я вдруг осознал, что оно само по себе было силой: на всех сидящих вокруг оно оказывало непосредственное, немедленное воздействие: как если бы он и в самом деле был источником некоего мощного излучения. Если вам нужен пример математика, который у всех на глазах распоряжался своей, такой немудреной (и такой действенной), властью, чтобы ободрить, воодушевить своего ближнего, то вот вам Дьедонне — не ошибетесь! До сих пор я никогда об этом не задумывался, но теперь вспоминаю, что именно так, светло-восторженно, он принял меня, когда я принес к нему в Нанси свои самые первые научные результаты. Мне тогда удалось разрешить вопросы, поставленные как раз Дьедонне и Шварцем (о пространствах (F) и (LF)). Результаты весьма скромные, ничего сверхъестественного; восхищаться, можно сказать, было особенно нечему. Мне с тех пор доводилось видеть, как достижения совсем иного масштаба пренебрежительно, без объяснений, отвергались нашими «великими математиками». Дьедонне же никогда не строил из себя важной персоны (не задумываясь над тем, есть у него к тому основания или нет). Вероятно, поэтому он мог себе позволить радоваться без помех, даже по самому пустячному поводу.

В умении восхищаться есть особая *щедрость*. Она идет на благо и самому человеку, и тем, кто его окружает. Это происходит непреднамеренно, здесь нет речи о желании польстить товарищу или хотя бы оказать ему любезность. Это — как аромат цветка, как солнечное тепло на живой земле.

Из всех математиков, которых я знал, у Дьедонне этот «дар» проявлялся особенно ярко. Его восторг был необычайно заразителен — и, наверное, сила его восхищения была действеннее, чем у других ⁽³⁵⁾. Но среди моих ближайших друзей тех лет нет ни одного, кто был бы в те дни обделен этим «даром». Они проявляли его реже и более сдержанно, быть может. Но всякий раз, когда я приходил к кому-нибудь из них с тем, чтобы поделиться поразившей меня находкой, я слышал его и чувствовал.

И если, в моей жизни как математика, мне довелось узнать горечь

и разочарование, то прежде всего это случалось тогда, когда в людях, которых я знал и любил, я искал и не находил этой щедрости. Я видел, как она исчезала, эта чувствительность к красоте вещей, великих и малых. Больно было провожать ее взглядом — как если бы нечто живое, населявшее наши души, уходило из них без следа. И там уже вступало в свои права, требуя места, разраставшееся самодовольство — толкуя о том, что мир-де староват и невзрачен, а потому и нашего просвещенного восторга он, дескать, никак не заслуживает.

Конечно же, мне бывало больно и тогда, когда я узнавал, что тот или иной из моих старинных приятелей снисходительно (или даже с презрением) обошелся с кем-либо из моих друзей этих последних лет. Но ведь причина здесь, по сути, одна. Тот, чья душа открыта красоте вещей (даже если речь идет о самой малой вещи на свете), не может, прислушиваясь к гармонии, не испытывать одновременно уважения к тому, кто наградила ее голосом. Руки, сотворившие красоту, несут на себе отпечаток ее души — той любви, которую вложил в дело работник. И когда мы ощущаем эту красоту, эту любовь, тогда в нашем сердце нет места снисходительному пренебрежению. Ибо закон один для всех: вдруг прочтя в глазах женщины пронзительную красоту ее существа, потрясенный скрытой за нею животворящей силой, дерзнул ли кто помыслить о снисхождении?

38. Должно быть, та радость, какую лучился Дьедонне в иные минуты, в свое время затронула во мне какую-то из тонких, глубоких душевных струн. Думая об этом, я как будто снова вижу перед собой его восторженное лицо. Воспоминание приходит свежим и ярким, как никогда (а ведь я не виделся с ним почти пятнадцать лет — разве что мельком, два раза). А между тем, на сознательном уровне я, безусловно, никогда не обращал на это особенного внимания: что там, просто милая, забавная странность характера старшего коллеги и друга. Намного важнее мне казалось то обстоятельство, что он был для меня идеальным товарищем по работе; другого такого, пожалуй, и не сыскать. С какой тщательной, любовной заботой предавал он бумаге то, что должно было послужить основой для многоэтажных зданий неведомой архитектуры, чей план, в красочной перспективе, уже открывался передо мной! И только теперь, когда все это вместе вдруг мне припомнилось, я уловил между обеими, так заметно отличавшими Дьедонне от других, чертами очевидную связь. Идеальным служителем большой, серьезной задачи (шла ли речь о работе в группе Бурбаки или о нашем с ним счастливым со-

трудничестве) Дьедонне делала как раз та самая *щедрость*. Тщеславия в нем не было ни на грош: ни в том, как он работал, ни в том, по какому принципу он выбирал ту или иную тему в математике — чтобы затем, забыв обо всем, нырнуть в нее с головой. Его собственное «я» при этом исчезало, отодвигалось на второй план; энергия, которую он без счета вкладывал в работу над своими задачами, казалась неисчерпаемой. Он бескорыстно, с полной душевной отдачей служил своему делу, ничего не ожидая взамен. И, несомненно, награду он получал сполна, находя ее в своей работе — и в той самой щедрости, чьи семена проросли и цвели у всех на глазах, воздавая сторицей. Я уверен, что так чувствовали все, кто его знал.

Радость открытия, которой он, бывало, так и лучился весь, с ног до головы, явно сродни детскому восторгу. Мне приходят на ум два ярких воспоминания; оба — о моей дочери, тогда еще совсем крошке. Первый образ — вероятно, из тех времен, когда ей было всего лишь несколько месяцев: она только-только научилась ползать на четвереньках. В тот раз она играла во дворе нашего дома, на небольшом клочке травы, сбоку от аллеи, выложенной гравием. Добравшись на своих четверых до края лужайки, она обнаружила эти камешки. В немом (но деловитом) восторге, набрав полную пригоршню великолепных находок, она, не раздумывая, засунула их к себе в рот! Второй образ, скорее, относится к той поре, когда ей уже стукнуло год или два. Кто-то при ней бросил корм золотым рыбкам в аквариум. Крошки поплыли в воде, медленно опускаясь на дно, а рыбы бросились к ним наперегонки, широко разевая рты. Малышке до тех пор никогда не приходило в голову, что рыбы могут есть, совершенно как люди. Это было, как внезапное прозрение — яркое, пронзительное чувство, которое тут же, при нас, вылилось наружу восторженным воплем: «Смотри, мама: они *едят!*» Да и в самом деле, было чему восхищаться: великая тайна нашего родства со всем, что живет на земле, открылась ей вдруг, в ослепительной вспышке.

В детской радости есть нечто необыкновенно заразительное, и оно не укладывается в слова. От ребенка словно передается к нам какая-то сила — в то время как мы (чаще всего) всеми возможными средствами стремимся от нее отгородиться. Но если в доме, где есть ребенок, умолкнуть про себя и прислушаться, то голос этой силы услышишь всегда, в любую минуту. Такое «силовое поле» мощнее всего вокруг новорожденного, в первые дни и месяцы его жизни. Как правило, оно дает о себе знать и в последующие годы, как бы ветшая по мере взросления малыша, зачастую уже совсем незаметное у подростка. Бывают люди, которых не

так скоро покидает это удивительное свойство; уже в годах, в иные моменты они так и лучатся дестким восторгом — и, как море, волнуется пространство вокруг. И совсем редко попадаются в мире такие взрослые, которые живут, как дети — всякую минуту переживая, как новую неожиданность. Таких наше «силовое поле» облаком веселого света сопровождает повсюду, до самой смерти. Мне выпала великая удача: в свое время, еще ребенком, мне довелось повстречать одного точно такого человека. Теперь его уже нет в живых...

Этот разговор навел меня на мысли о другой, сходной силе — той, что исходит от женщины. В расцвете своей женской природы, когда душа ее находится в согласии с телом, она излучает вокруг себя некую мощь, действие которой всякий вольно или невольно ощущал на себе. Пытаясь передать это чувство словами (и совсем не претендуя на сколько-нибудь полное его описание), я думаю о «красоте». Но это не значит, что речь здесь пойдет о каких-либо канонах телесной красоты, о пресловутом «совершенстве форм» — наоборот. И годы здесь ни при чем: на ту красоту, о которой я говорю, ни юность, ни зрелость не держат исключительных прав. Скорее, она — отзвук некоей внутренней, глубокой гармонии. Это сила, влекущая нас к самому центру мощного излучения. Она будит в нас тайное, глубинное стремление *возвратиться*, снова слиться в одно с телом Женщины-Матери, которое мы однажды покинули, вступая в жизнь. Исходя от любимой женщины, эта сила волнует, пронзает насквозь; подчас ей невозможно противостоять. Но тот, кто нарочно не закрывает глаз, видит ореол ее лучей вокруг всякой женщины, в чьей душе эта гармония, эта красота, расцвела свободно, не встретив препятствий.

39. Два воспоминания, о которых я только что рассказал, относятся по времени к самому концу пятидесятых — началу шестидесятых. Конечно, чистым восторгом открытия, в первые годы своей жизни, дышит каждый ребенок. Но о младших детях, о том, как они переживали свои поразительные находки, у меня в памяти не отложилось таких же ярких подробностей. Дело, наверное, в том, что я сам с годами понемногу утрачивал умение восхищаться; пронзительная острота внезапного чувства, кажется, несколько притупилась в моей душе. Я отдалялся от этого, все безогляднее уходя в свои «солидные» занятия. Так запросто заразиться детской радостью, даже заметить и распознать ее ни с чем не сравнимые проявления, я уже не мог.

За всю жизнь мне еще ни разу не приходило в голову поразмыслить о

том, что это, собственно, значит — уметь восхищаться (а заодно спросить себя, не утратил ли я сам эту способность). Блуждая в поисках разгадки, я и не подозревал, что путеводная нить проходит именно здесь: ведь умение восхищаться, по сути, самый что ни на есть чувствительный индикатор в иных вопросах. Нить все это время находилась у меня под ногами — но до того скромная, легкая, неказистая с виду, что я просто не обращал на нее внимания. Меня слишком увлекало открытие «главных движущих сил» в моей жизни (они для меня и по сей день не утратили своего значения, это верно). А между тем, способность «радоваться как малое дитя» говорит в нас голосом иной «силы», куда более редкой между людьми — и более драгоценной...

Совершенно отрезан от этой силы я никогда не был. Даже в те времена, когда в твоей духовной жизни наступает засуха, и чувства из нее будто бы пропадают — детский восторг, радость открытия, ты так или иначе обретишь в любви. Далеко забредая в пустыни сухой, бездушной мысли, в любовной страсти ты сохраняешь живую, крепкую связь с плодородными землями, которые ты когда-то оставил. Нить надежна, пуповина не перерезана; ее задача — питать тебя теплой, щедрой, животельной кровью. Ты восхищаешься любимой женщиной, и это чувство неотделимо от восхищения перед новыми существами, от нее приходящими в свет. Они — сама свежесть; бесконечно хрупкие, невероятно живые, они одним только своим существованием раз и навсегда подтверждают ее могущество — и наследуют ее творящую силу.

Но моя настоящая цель — прежде всего, как-нибудь проследить проявления этой же самой силы, «силы невинности», в моей жизни как математика. (Речь идет о периоде с 1948 года по 1970-ый, когда я входил в «мир математиков» на правах постоянного обитателя.) Любовь всегда насквозь пронизана восхищением; страсть же к математике, в целом, совсем иное дело — по крайней мере, в моем случае. Странная вещь: я не могу припомнить, как ни стараюсь, ни одной конкретной ситуации, когда в математике, во время работы, меня вдруг посетило бы подобное восхищение. С семнадцати лет, когда я только начинал, с самым пылким увлечением, заниматься этой наукой, я всегда работал, что называется, «по плану». Я ставил себе грандиозную *задачу*, а затем трудился над ее разрешением; в этом состоял мой подход к математике. И всегда, с самого начала, это были задачи по «приведению в порядок»; я занимался, по сути, генеральной уборкой огромного помещения. Я видел перед собой невероятный хаос, смесь разнородных объектов; пыль стояла в воздухе подчас непроницаемой завесой. И все же, внутри этого невообра-

зимого нагромождения явно таился порядок; разнообразные вещи, здесь и там нелепо торчавшие из-под пестрой груды, очевидно, содержали в себе какую-то, общую для всех, но все еще непостижимую сущность. Во всем этом неясно ощущалась скрытая, неведомая гармония; чтобы ее восстановить, нужно было терпеливо, тщательно, иногда очень долго трудиться. Зачастую это была работа со шваброй и тряпкой, с жесткими щетками, какими скоблят полы; чистка требовалась весьма основательная, и сил на нее уходило немало. Под конец же, для красоты, нужно было пройтись кое-где легкой метелкой; такая работа увлекала меня меньше, но в ней была своя прелесть — и, уж во всяком случае, очевидная польза. И еще было во всем этом какое-то особенное удовлетворение: видеть, как понемногу восстанавливается, открывается глазу внутренний порядок чудесного дома, претворяя в жизнь твою, смутное когда-то, прозрение. Но догадки, с которыми ты приступал к работе, на поверку всегда оказываются слишком робкими: гармония слышна все яснее, — изысканная, тонкая, — и такого богатства красок и звуков невозможно было предвидеть заранее. Сколько неожиданностей, случайных находок встречалось по дороге: а ведь, кажется, ты всего лишь наклонился, чтобы рассмотреть поближе мельчайшую, едва заметную безделушку, которой ты раньше просто пренебрегал. Нередко тщательная обработка такой вот мелкой детали проливали совершенно неожиданный свет на какой-либо труд из прошлых лет, казалось, давно завершённый. А бывало и так, что она одна приносила мне новые догадки, задавая на будущее направление мысли. Впоследствии, следуя этому курсу, я неизменно приходил к новой «грандиозной задаче».

Таким образом, в моей работе над математикой (если не считать того «мучительного» 1954 года, о котором я как-то уже говорил) всегда присутствовало некое напряженное ожидание — внимание, постоянно державшее меня «на чеку». Впрочем, верность своим задачам не позволяла мне вырываться слишком далеко вперед, сбиваясь с жестко заданного курса. Задержки в работе выводили меня из себя; стремясь поскорее покончить с оставшимися формальностями ради нового броска в неизвестное, я в нетерпении грыз удила. А между тем, для того, чтобы довести все эти задачи до конца, одной жизни мне заведомо не хватило бы (при том, что в добровольных помощниках у меня все это время не было недостатка).

Как путешественник в море ищет глазами огней маяка на горизонте, так я, выбирая свой путь, искал впереди знаков внутреннего согласия, соответствия между отдельными, уже открывшимися мне, дета-

лями моей картины-загадки. На поверхности бушевала буря, война волн со случайными щепками — но дальше, в глубине, я угадывал чудесный покой, гармонию полную и совершенную. Шаг за шагом, осторожно, я старался извлечь ее на свет — не останавливаясь, не чувствуя усталости. Вело меня при этом какое-то пронзительное предчувствие красоты — на всех дорогах мой единственный компас. Созерцать красоту в полном блеске — истинное наслаждение; но в том, чтобы видеть как она, не торопясь, выступает из тумана (а сама эта плотная завеса, за которой она так упорно скрывалась, рвется в клочки, опускаясь к твоим ногам), я находил особенную, иную радость. Конечно, я не оставлял работы до тех пор, пока мне не удавалось раз и навсегда вывести свою находку на свет из ее уютного полумрака. И тогда уже я мог задержаться, чтобы в полной мере насладиться созерцанием — глядя, как стройно ложатся на картину пестрые краски, и как случайные, разрозненные голоса, торжествуя, сливаются в одну всеохватывающую гармонию. Но чаще всего то, что я только что вывел на свет, само подсказывало мне новые догадки, побуждая вернуться ради них в царство непроницаемого тумана. Свежая находка при этом оказывалась для нового похода незаменимым инструментом. Да и могло ли быть иначе? Ведь Та, что вечно таится в глубине, неуловимая, неверная, без конца меняющая облик, маня очередным, незнакомым еще воплощением, снова обращала ко мне свой зов.

Дьедонне, мне кажется, находил свой восторг и удовлетворение прежде всего в созерцании красоты вещей — в полном свете, в законченном великолепии. Мне же была дороже радость неуверенного поиска, вслепую, наощупь, в морозе ночных туманов. Именно в этом, быть может, заключается глубокое различие наших с ним подходов к математике. В свое время я умел чувствовать красоту так же остро, как Дьедонне; вероятно, эта способность притупилась у меня в шестидесятые годы (когда я, сам того не замечая, стал потакать своему самодовольству). Однако, похоже на то, что само восприятие красоты, немедленно вылившееся у Дьедонне в счастливое восхищение, всегда осуществлялось у нас по-разному. Моя страсть к гармонии вещей, по-видимому, была более действенной, в то время как его любовь — скорее, созерцательной; и снаружи она проявлялась ярче моей.

Если все это действительно так, то теперь моя задача — разобраться в том, какой же жизнью жила в моей душе эта способность, эта открытость к красоте вещей в математике. Как ни посмотришь, а все же это дорогой подарок нашей судьбы — умение восхищаться.

40. Ясно, что и в шестидесятые годы, когда в мои отношения с математикой (и с математиками) проникло самодовольство, я все же не мог до конца утратить восприимчивости к ее красоте. Спору нет, с годами я становился все более честолюбивым; но если бы не эта открытость, не эта чувствительность к красоте вещей, я просто не смог бы «функционировать» как математик, даже на самом скромном уровне. Думаю, что это касается не только меня: едва ли человек вообще может сделать что-нибудь полезное в математике, если он не чувствует ее красоты. Мне кажется, что ценность труда в математике определяется не столько так называемыми «умственными способностями», сколько тем, как остро человек чувствует, как тонко он слышит эту гармонию. У разных людей это чутье развито по-разному; один и тот же математик может быть то глух к красоте, то вдруг необычайно к ней восприимчив. Но чем яснее звучит для тебя эта гармония, чем внимательнее ты прислушиваешься к ней, тем твой труд глубже и плодотворнее ⁽³⁶⁾.

Если так, значит, эта чувствительность была со мной до конца; ведь именно в конце шестидесятых годов⁹, в своих раздумьях о математике, я начал различать перед собой самую изысканную, самую волнующую из всех тайн, которые мне суждено было открыть в математике. Она пряталась глубоко, за плотной стеной тумана. Понемногу выводя эту загадку на свет, я назвал ее «мотивом». Кажется, среди всех находок в моей жизни как математика она увлекала меня сильнее всего (разве что темы моих размышлений последних лет могли бы с ней в этом поспорить — но они и сами тесно связаны с темой мотивов). Без сомнения, не случись тогда в моей жизни внезапного поворота, уведшего меня далеко за пределы уютной безмятежности мира математики, я поддался бы этому сильнейшему влечению: пустился бы вперед, на зов «мотива», оставив позади все, что цеплялось за полы плаща!

Ошибусь ли, если скажу: что бы ни случилось, чувство красоты в математике никогда не изменяло мне в уединении рабочего кабинета? Что самодовольство, так часто врывавшееся в мои отношения с братьями по ремеслу, не притупило во мне этой восприимчивости, что до самого моего «пробуждения» в 1970 году она оставалась прежней? Ведь с годами, в ежедневном соприкосновении с математикой, некое «чутье» даже становится тоньше. Когда мы ближе знакомимся с теми или иными вещами, нам иногда удается, опираясь на опыт, угадывать о них то, чего мы еще не знаем наверняка. Этот опыт (или зрелость: чутье, о котором

⁹(8-е августа.) Просмотрев свои записи, я обнаружил, что первые мысли о мотивах пришли мне в голову в начале, а не в конце шестидесятых.

я говорил, — самое заметное из ее проявлений) сродни открытости к красоте, к истинной природе вещей. Мы копим его в минуты «откровения» и в то же время с его помощью оттачиваем свою чувствительность к красоте, остроту восприятия. Этот опыт — плод нашей открытости, и в нем заложены семена для новых откровений.

Но что до той же открытости на уровне человеческих взаимоотношений (более конкретно: отношений с коллегами в нашей среде), с этим вопросом мне еще предстоит разобраться. Сохранил ли я ее за все эти годы, не исчезла ли она из моей души, отравленной самолюбием?

Раздумывая об этом, я, как обычно, не в силах нащупать скольконибудь осязаемого образа: ни одного подходящего события, которое я мог бы описать в подробностях, не осталось у меня в памяти. На месте воспоминаний — сплошной туман; ничего конкретного, только общее впечатление. Что же, попытаемся передать его на словах. Похоже, что речь идет об определенной *внутренней позиции*, превратившейся в конце концов в мое второе «я». Она давала о себе знать всякий раз, когда мне попадалась на глаза математическая новость более или менее «по моей части». (Не то, чтобы я приобрел эту позицию с годами: скорее, она была во мне заложена. Это свойство характера, как будто сравнительно безобидное; я уже как-то о нем упоминал.) Выражалось это в том, что, знакомясь с новым утверждением, я никогда не соглашался сразу прочесть (или выслушать) его доказательство. Я всегда старался сначала сопоставить это утверждение с тем, что мне уже известно из этой области, и проверить, не окажется ли оно очевидным в привычном контексте. Нередко мне таким образом удавалось переформулировать утверждение так, чтобы оно стало более общим или более точным; зачастую достигалось и то и другое одновременно. И лишь в том случае, если у меня не получалось «пристроить» его посреди *моих* представлений о ситуации, опираясь на *мой* собственный опыт, я был готов (подчас чуть ли не против воли!) ознакомиться с остальным материалом в поисках *той самой*, все определяющей причины или, по крайней мере, доказательства (неважно, содержится оно там в явном виде или нет).

Именно эта особенность моего подхода к математике, мне кажется, в свое время выделяла меня среди всех прочих членов группы Бурбаки. По ее вине я никогда не умел, как они, полностью включиться в совместную работу. Эта же особенность, бесспорно, всегда была заметным препятствием в моей работе с учениками; думаю, что все они это ощущали. Впрочем, сейчас, с годами, я понемногу научился с этим справляться.

И все же, отсюда видно, что мне недостает душевной открытости.

Получается, что я как бы настроен на определенную волну, открыт лишь частично: все, что попадает «не в струю», мой ум принимает не всегда, вынужденно и с большой неохотой. В том, как я выбираю тему для своих математических занятий (и рассчитываю, сколько времени уделить разбору той или иной неожиданной информации), намеренная установка на «частичную закрытость» во мне сегодня сильна, как никогда. Она даже необходима: иначе я не смог бы последовать зову, сильнее всего влекущему меня за собой, не отдавая всей своей жизни на съедение госпоже Математике.

Из моего «тумана», однако, можно почерпнуть еще кое-что впридачу к этой особенности, которую я уже начал в себе замечать несколько лет назад (лучше поздно, чем никогда!). Похоже, что в какой-то момент это стало для меня *делом чести*: неужели, черт побери, я не смогу «взять за рога» это утверждение раньше, чем его успеют произнести вслух! Если автором утверждения был какой-нибудь неизвестный талант, тут примешивался еще другой оттенок: хватит и того, что *я* (уж кто-кто, а я-то должен понимать в этом толк!) сам до этого не додумался! Довольно часто я действительно успевал додуматься раньше, и не только до этого утверждения; тогда я чувствовал себя совершенно иначе. Кажется, я всем своим видом говорил автору: «Прекрасно; теперь можете катиться к чертовой бабушке. Вернетесь с чем-нибудь поинтереснее.»

Именно так я держал себя в истории с «молокососом, забравшимся в мой огород». Я даже не знаю, набрел ли он тогда в своей работе на какие-нибудь интересные подробности, которые я бы в свое время, составляя «секретные наброски» будущих трудов, упустил из виду. Это, впрочем, не так уж важно¹⁰. Итак, вопрос о том, как изменилась с годами моя восприимчивость к красоте в математике, наконец, начинает проясняться. Из этой истории видно, что она не осталась прежней — и перемены, по сути своей, достаточно глубоки. Можно сказать, что стоило мне закончить ту или иную работу в математике, как ее красота в моих глазах исчезала. Оставалось лишь честолюбие, которое требовало признания и наград. (При том, что я не всегда удосуживался выбрать время, чтобы опубликовать свою находку, это уже явно было чересчур.) Открытие в математике словно бы становилось моей собственностью, и я искал в нем уже не радости, но обладания. Так иной, познав женщину, становится глух к ее красоте — но, волочась за сотней других, все же

¹⁰(8 августа.) С тех пор я понял, что это, напротив, далеко не так уж неважно. Именно здесь проходит граница между «спортивным подходом» и профессиональной бесчестностью; кто поручится, что я не переступил ее тогда?

не потерпит «соперника». В любви я считал себя выше этого, как будто нарочно стараясь не замечать, что к математике я относился именно так.

Мне кажется, что этот настрой на грубое соревнование в математике («спортивный дух», если можно так выразиться), появился у меня в то время, когда он уже успел достаточно широко распространиться в нашей среде. Не берусь указать точно, когда он проник в наши круги, и не знаю, когда он стал для нас привычен, как воздух (которым дышали и наши ученики, приходя к нам). Могу только предположить, что это произошло где-то в шестидесятые годы; быть может, в конце шестидесятых — начале семидесятых. (Если так, никто из моих учеников не избежал влияния этого настроения; поддаться ли ему, каждый должен был решать для себя!) Чтобы уточнить время, нужно вспомнить еще какие-нибудь конкретные события — но сейчас ничего не приходит мне в голову.

Скромная действительность, по своему обыкновению, разрушает воздушные замки и сводит на нет благородные образы. Мои отношения с математикой и с молодыми учеными вообще на поверку оказались совсем иными, чем я о них думал. К этой мысли я мог бы прийти и раньше, но взамен предпочитал обманывать себя самого, прибегая к грубым уловкам в меритократическом духе. Создавая эти благородные образы, я брал в расчет лишь свои отношения с учениками (но ведь ученики — гордость математика, успех каждого из них прибавляет ему славы!) и с самыми одаренными молодыми математиками со стороны. Я умел признавать заслуги юных талантов; как и со своими учениками, я обходился с ними на равных, не дожидаясь, пока на них посыплется почести. (Другое дело, что долго ждать не приходилось: «чутье» или есть, или его нет!) Итак, к своим собственным ученикам, к ученикам моих друзей и просто к юным гениям я всегда относился с уважением; все остальные молодые ученые не вызывали у меня решительно никакого интереса. С ними я мог обходиться как угодно, ни о чем не заботясь. *Они были не в счет.*

Все это так — но, мне кажется, непосредственное общение с человеком всякий раз что-то во мне меняло, хоть и ненадолго. Пожалуй, тот случай с «юным неучем» в известном смысле был исключением. Если молодой ученый подходил ко мне на семинаре или обращался ко мне с письмом, я, по-видимому, как бы брал его под свою защиту — и, естественно, начинал относиться к нему благожелательнее. Тогда находила выход и моя страсть опережать мысли собеседника: я всегда мог посоветовать ему, как можно расширить или углубить тему его исследова-

ния. Наверное, в этом случае он ненадолго становился, в какой-то мере, моим учеником. Ему тоже была от этого определенная польза, так что он вполне мог сохранить не самые худшие воспоминания о нашей встрече. (Я был бы рад что-нибудь услышать об этом из первых рук.)

На этих страницах речь шла прежде всего о моих отношениях с молодыми учеными — хотя проявления моего «спортивного духа», безусловно, этой областью отнюдь не ограничивались. Начинаящий математик особенно восприимчив к тому, как видный коллега принимает и оценивает его работу: как психологические, так и чисто практические последствия такого контакта для него могут оказаться весьма серьезными.

41. Этой ночью я отложил перо с чувством настоящего удовлетворения, как человек, который знает, что потратил время не даром! И мне вдруг стало так легко и радостно на душе, что я просто расхохотался веселым, даже чуть-чуть злорадным, смехом озорного мальчишки. Кажется, много ли я сделал — всего лишь взглянул под другим углом на историю, в которой как будто все уже было ясно, разложено по полочкам. А взглянув, я прочел ее по-новому: в контексте *моих отношений с математикой как таковой*. Этого оказалось достаточно, чтобы миф, которым я столько лет дорожил, развеялся как дым.

Правда, мне и раньше случалось задумываться над своим отношением к математике. Как-то раз два с половиной года назад я провел не одну неделю, если не несколько месяцев, как раз в таких размышлениях. Тогда я начал понимать, что в былые времена я отдавал все свои силы математике не так уж и бескорыстно: мой выбор во многом определяло честолюбие. Но этой ночью мне удалось заметить одну вещь, которая до сих пор от меня ускользала: что я в те годы *ревниво* относился к своим находкам в математике. И тогда мне пришло на ум еще одно «совсем простенькое» открытие — пришло издалека, из моей первой «ночи медитации» (когда я медитировал, сам о том не подозревая — точь-в-точь как месье Журден у Мольера говорил прозой). Возможно (хоть я и не думал об этом), именно это живое воспоминание, неожиданно вернувшись ко мне, вызвало в моей душе столь бурную радость. Ведь мое давнее открытие словно бы подтвердилось заново, мало того: оно вдруг предстало мне в новом свете. Так бывает и в математике: вдруг, совершенно случайно, набредаешь на то, что обнаружил когда-то давно (не один год назад, быть может), и совсем на другой дороге. Такие встречи всегда приносят душе какое-то особенное, радостное удовлетворение: в

эти минуты внутренняя гармония вещей звучит яснее, и наше знание, наше представление о них обновляется.

А еще мне кажется, что на сей раз я и впрямь «завершил обзор»! Вот уже несколько дней я чувствовал, что этим страницам чего-то недостает, хоть и не мог понять, чего же именно. Я решил не напрягать сил понапрасну: просто идти своей дорогой в надежде на новые встречи, оглядывая как будто привычные, и вместе с тем такие незнакомые окрестности. Незнакомые потому, что я до сих пор ни разу не удосуживался к ним присмотреться. Так и вышло, что к главной загадке, к самой прочной крепости самообмана на своем пути я приближался не спеша, прогулочным шагом. Думаю, что теперь я, наконец, распутал клубок, и мое путешествие вот-вот завершится.

Итак, прошлой ночью я и в самом деле добрался до места. Странное чувство — как будто стоишь на высокой башне: внизу, под ногами, расстилаются поля, по которым ты проходил, и обрывки впечатлений от долгого пути сливаются в большую величественную картину. Мозаика знакомых ручьев и пригорков, собравшись в одно, учит тебя словам «простор» и «пространство» — и, следом за ними, слово «свобода» само срывается с языка.

Вглядываясь в эту картину, я все еще подбираю слова. Я ясно вижу, что все, что приключилось со мной в моей жизни как математика за эти последние годы (а приключения нередко оборачиваются злоключениями, в особенности для тех, кто не умеет принимать уроки судьбы), я навлек на себя сам. Это — плоды того, что я своей рукой *посеял* в те времена, когда еще жил в мире математиков, и они несут мне из прошлого далекую весть.

Конечно, все это я уже не раз повторял себе за последние годы — в том числе на этих самых страницах. Я знал это по опыту: ведь не однажды, так вот сняв урожай, я пытался от него отказаться — и в конце концов все же принимал, как горький подарок. Впервые это случилось со мной еще до того, как я открыл для себя медитацию. Тогда я понял, что каждый урожай несет в себе смысл, и роптать на угощение — значит избегать нового знания, тем самым лишь отдаляя развязку. Этим открытием я дорожу: когда на меня находит жалость к себе и, прикрываясь благородным негодованием, слепит глаза, оно помогает мне сбросить повязку. Оно ведет меня к зрелости — но это отнюдь не означает, что я победил в себе произвольное стремление отвернуться от урожая всякий раз, когда предчувствую горечь. Мало просто сказать себе, что, дескать, грех роптать понапрасну. Быть может, я не жалею себя

и не негодую — но «роптать» так и не разучился! Не протянуть руки за плодом, воротить нос от готового блюда — это и значит роптать на судьбу.

Съесть, переварить пищу — это *труд*: какие-то силы вступают в игру, что-то «работает» незаметно или у тебя на глазах, что-то преобразуется... Роптать же — значит тратить энергию: она расходуется — на «ропот»! Можно ли сберечь силы на том, чтобы не есть, не переваривать, не усваивать пищу? Пережить неприятности, через что-то пройти, «приобрести» опыт не имеет ничего общего с настоящей работой. Это только дает тебе *материал* для будущего труда; не хочешь — можешь за него и не браться. Тридцать шесть лет кряду, с того момента, как я впервые столкнулся с миром математиков, я так и поступал: я *избегал* работы, в то время как материал, который нужно было переварить, год от года накапливался. Я без конца откладывал его ради других задач, и все же он дождался своего часа. Чувство освобождения, которое я испытываю со вчерашнего дня — верный признак того, что работа, наконец, завершена. Что же, давно пора!

Конечно, пока ни за что ручаться нельзя: может случиться, где-нибудь в закоулках памяти меня подстерегает загадка, до сих пор упорно ускользавшая от моего взгляда. Но верно и то, что чувство освобождения никогда еще меня не обманывало. То надежное, прочное знание, которое оно всегда приносило с собой, было и в самом деле *освобождением*. Оно не улетучивалось со временем, но приживалось, становилось как бы частью меня самого. Я мог бы, если бы захотел, забыть об этом знании, зарыть его в памяти, когда угодно и под любым предлогом. Но оно есть, и уничтожить его не в моей власти: этого не может никто. Спелый плод уже не станет зеленым, и времени вспять не повернешь.

Заново убедиться в том, что ты не лучше других, всегда большое облегчение. Само собою, я и это повторял себе тысячу раз, но *повторять* — совсем не то, что *видеть*! Ребенок в своей невинности видит, как дышит — но взрослому для этого нужно потрудиться, сбросить с плеч привычные заблуждения. Я решился на это, и вот нашел наконец, открыл очевидное; труд завершен. Я *увидел*, что я не «лучше» своих коллег и прежних учеников, и напрасно у меня на днях при одной мысли об их поступках «перехватывало дыхание»! Нет слов, насколько легче мне теперь дышится. Воображать, будто ты лучше других, иногда, пожалуй, приятно, но всегда утомительно. Сколько сил уходит на то, чтобы без конца подтверждать обман, следить, чтобы ветер не разметал воздуш-

ные замки! Этого обычно не замечаешь, а все же удерживать повязку на глазах и зажимать уши, когда вокруг бушует гроза и сама очевидность грохочет: «Все это ложь, фальшивка — да взгляни же, глупец!» — требует подчас невероятных усилий. И тут я действительно берегаю силы: ведь я мог бы еще не год и не два бродить по кругу, зажимая уши и замуривая глаза (надо же было так мучиться!), не умея смириться с тем, что вещи, так бестолково разложенные мною по полкам, то и дело валяются вниз.

Хватит уже кружится на карусели! Тот, кто видит заколдованный круг, уже вырвался из него. Конечно, если хочешь платить, можешь вертеться хоть до бесконечности: это твое право, даже твой долг. Да что там, есть о чем толковать, мне любой скажет: долг это или право — каждый понимает по-своему. Но я так устал от всех этих прав, которые еще и обязанности, от обязанностей, которые в то же время права; с тех пор как я перестал ставить себя выше других, мне они попросту ни к чему. В конце концов, для того, кто лучше других, естественно получать за это скромное вознаграждение (вот оно, «право»): ведь он «платит», он исполняет свой долг, к вящей славе математики и вообще человеческого разума — и это хорошо, это справедливо; честь, разум, математика, лучше не скажешь, браво!.. бис!.. Все это прекрасно, согласен, но и утомительно; от этого, представьте, костенеет шея. Я уже отмучился, с меня довольно: уступаю место другим.

Возвращаясь к моим ученикам — они и должны были превзойти своего учителя. Я возмущался, так что же: значит, впустую тратить силы мне было не жаль. С этого дня — довольно.

Какой груз с плеч!

42. Пожалуй, я даже уверен в том, что без пыли в темных углах не обошлось: что-то я, наверное, все-таки упустил, где-то не прошелся метлой. Не беда, если так: будет время, доберусь и до этих неясных мест — да они, верно, и сами дадут о себе знать. Но «размышления о прошлом математика» как таковые подходят к концу: генеральная уборка, без сомнения, завершена.

Сейчас, лишний раз убедившись в том, что я не лучше других, хорошо бы не запутаться в бесконечной цепочке: не счесть себя *лучше себя самого*. Не вообразить, что *теперь*, когда я добровольно сошел с карусели, и прочая, и прочая, я стал лучше, чем был пятнадцать лет, или дней, тому. Чему-то я научился за прошедшие пятнадцать лет, это верно; за последние пятнадцать дней тоже — и даже вчера я уже успел